

Глава 9. Сталинщина: кульминация системоцентризма.

До сих пор в нашем путешествии по российской истории мы руководствовались правилом: чем ближе, тем подробнее. Иными словами, каждый последующий период рассматривался как бы сквозь более сильную линзу. Да и сами объекты изучения постепенно укрупнялись: век - полвека - отдельные царствования - несколько революционных лет. Однако сейчас стоит изменить этому правилу. И дело не в том, что иначе пришлось бы посвятить одной только эпохе сталинизма по меньшей мере отдельную книгу, а в том, что для целей данного исследования такая книга не является необходимой.

Если бы писалась политическая история России или история народных страданий, то тогда, конечно, этот людоедский период должен был быть по мере возможности отображен во всех своих зловещих подробностях. Но с позиций избранного подхода период сталинщины не обладает особым своеобразием, поскольку представляется временем лишь «пожинания плодов» урожая, не только посеянного, но уже взошедшего и даже заколосившегося на предыдущем этапе, временем почти запрограммированного развития уже сложившихся тенденций. Для понимания общей логики исторических процессов его подробное изложение добавило бы немного. Поэтому ограничимся изложением своих представлений о моральных и психологических детерминантах поведения людей в период пребывания нашего народа на дне исторической пропасти, исходя из того что фактическая сторона событий читателю более или менее известна. Как и в других главах книги, интересующие нас вопросы будут обсуждаться поочередно применительно к каждой из основных социальных групп населения страны.

Новая элита - люмпены-выдвиженцы («сталинские соколы»). Новая элита стала складываться на удивление быстро, особенно если учесть, что антиэлитарная риторика и акции занимали едва ли не самое заметное место на авансцене событий и в момент переворота, и еще долгое время после него. Между тем уже в 1918 г. симптомы групповой организации и особого стиля поведения стремительно выдвинувшихся

на верхний ярус социальной пирамиды нуворишей - «новых хозяев страны» - стали настолько заметными, что возник даже специальный термин для их обозначения - «комчванство». А всего 3-4 года спустя терявший контроль над ситуацией Ленин еще успел увидеть, как вознесенная им на социальный гребень прослойка людей с невероятной скоростью перерождается в некое подобие мафии, члены которой озабочены только собственным благополучием и карьерой. Последние письма и статьи Ленина представляются обреченной попыткой остановить кристаллизацию новой люмпенской элиты. Судьба жестоко отомстила ему. К середине 20-х годов возникновение «нового класса» стало свершившимся фактом.

Правда, на первом этапе в его составе были не только беспринципные карьеристы, но и подвижники (фанатики) идеи. Но даже тогда это было хотя и яркое, но все же явное меньшинство (за исключением, может быть, самого высшего эшелона элиты). К тому же на практике революция делалась главным образом отнюдь не руками жертвенно настроенных интеллигентов: ее моторную силу составляли люди принципиально иного психологического типа - совсем не расположенные страдать за какие-то там абстрактные идеалы, а, напротив, стремившиеся урвать от жизни максимум доступного и увидевшие в революции широчайшие возможности для этого.

По мере же укрепления режима и образования довольно многочисленной правящей группы удельный вес и значение «идеалистов» в составе новой элиты и вовсе упали. Ведущие позиции захватывали различные разновидности приспособленцев-карьеристов. А в 30-е годы идейные борцы-большевики с дореволюционным стажем, как известно, подверглись жестоким массовым репрессиям и с политического горизонта в основном исчезли. Создатели политической гильотины сами в конечном счете стали ее жертвами.

Этической основой такого развития событий стало торжество принципа морального релятивизма, вызвавшее значительную эрозию норм (в том числе и правовых), веками регулировавших взаимоотношения людей. В российском обществе на протяжении ряда предреволюционных десятилетий накапливался разрушительный потенциал нравственной

аномии, т.е. безнормативности, дух воинствующего морального релятивизма. Обычно присущий лишь люмпенизированным слоям общества, он в результате проделанного им социального кульбита стал задавать общий тон. Поэтому оказались подорванными необходимый для нормальной жизни общества режим законности, сознание легитимности правопорядка, что предполагает признание общественным мнением как системы юридических норм, так и системы моральных регуляторов. А коль скоро «игра» пошла по таким правилам, то идеалисты, даже фанатики, естественно, вынуждены были уступить первые роли в высшей степени материалистически ориентированным (причем отнюдь не в философском смысле) преступным личностям.

Мораль новой элиты была довольно проста и функциональна, что обеспечило ее устойчивость и живучесть. Во-первых, для нее характерно практически полное **отсутствие каких-либо нравственных табу**, т.е. внутренних запретов. Следствием этой вседозволяющей этики стала возведенная в норму и широко вошедшая в практику безжалостность, которая придала столь трагический облик нашей послереволюционной истории.

Второй фундаментальный моральный принцип кодекса новой элиты - **нерассуждающее повиновение сильному**, т.е. обладающему в данный момент реальной властью. Реальная же власть, как известно, чем дальше, тем больше сосредоточивалась в руках двух политических сил - партийного аппарата и политической полиции (ГПУ-НКВД). Простота принципа усиливалась его универсальностью: поскольку и сам он, и носители власти были одними и теми же на всех уровнях, от самой верхушки до района, взбиравшийся по ступенькам советской карьерной лестницы человек уже на дальних подступах к элите вполне усваивал правила поведения и поэтому без особых трудностей адаптировался и на более высоких иерархических этажах.

Наконец, третьим всеобщим моральным принципом стало **расчетливое использование идеологических клише и политической демагогии в качестве оружия** в борьбе за власть и жизненные блага. В нашей новейшей истории сами по себе идеологические догмы и политические

принципы отнюдь не играли самодовлеющей роли. Лишь до тех пор, пока они оставались выгодными и нужными, их объявляли священными, и во имя якобы их соблюдения, их чистоты проливали реки крови. Однако как только они почему-либо начинали мешать достижению конкретных политических целей, их с легкостью отодвигали в сторону, причем для объяснения подобных метаморфоз обычно считалась достаточной самая поверхностная идеологическая полировка.

Из определяющих социально-психологических параметров новой элиты, видимо, прежде всего следует назвать **одномерность восприятия мира**, неприятие его антиномичности, возможности существования «разных правд».

С этим связано **полное отсутствие потребности и в рефлексивном самоанализе**, в «самокопани», всегда столь свойственном интеллигентам. Это были **люди действия**, постоянно настроенные на борьбу, причем любыми средствами.

Наконец, в тот же ряд «первичных» социально-психологических особенностей новой элиты, видимо, следует поставить введенную Э.Фроммом в оборот в ходе его анализа психологических основ нацистского режима **катеорию некрофильского психологического типа** как преобладавшего у членов новой элиты. Данная проблема довольно подробно обсуждалась при рассмотрении радикально-революционной психологии. Применительно же к рассматриваемому сейчас периоду ограничимся в качестве иллюстрации указанием на обилие в составе элиты людей палаческого склада.

Люди, сумевшие пробиться в новую политическую элиту, были не деятелями, но дельцами, которые играли в страшную игру с высочайшими ставками и по правилам, обычно более свойственным низу социальной пирамиды - преступному миру, - нежели ее верхнему ярусу. Правящая верхушка жила по законам самой настоящей мафии. И непонимание этого обстоятельства много раз подводило как внутренних, так и внешних партнеров и оппонентов режима. Весьма наглядно это видно на примере головокружительных успехов советской внешней политики в 30-40-е годы. За весь тот предельно насыщенный событиями

и победами период можно назвать лишь одну серьезную дипломатическую неудачу - в игре с Гитлером. При этом в высшей степени показательно, кому именно проиграла советская дипломатия - отнюдь не политикам, представлявшим демократические общества (их-то она обыгрывала довольно легко), а аналогичной мафии, тоже не считавшей себя связанной какими-либо традиционными «предрас-судками».

В составе советской элиты сталинских времен преобладали люди малокультурные, неотесанные и чрезвычайно примитивные по стандартам цивилизованного мира. Однако с позиций достижения избранных целей они были чрезвычайно хитроумными и изворотливыми.

Те же из них, кто отвечал общепринятым критериям культурности и образованности, либо на удивление быстро вымерли (Чичерин, Красин, Луначарский), либо были оттеснены на периферию или уничтожены (Литвинов, Бухарин, Вознесенский), либо (самый зловещий вариант) были «интеллигентными преступниками», т.е. целиком подчинили свои знания и способности достижению аморальных, своекорыстных целей (Вышинский). Причем это относится и к тем «эквилибристам», кому всегда удавалось оказаться в лодке «единственно верной генеральной линии», и к членам многочисленных оппозиций, как действительных, так и изобретенных их противниками с истребительными целями. Все они, увы, были мазаны одним миром.

Еще одна особенность сталинской элиты. В отличие от элит, существующих в условиях «нормальных» политических режимов, **она не имела стабильного состава**. На ее вершину можно было молниеносно взлететь на волне политических интриг, момента и удачи и при одном неверном жесте с треском вылететь обратно, причем не только к прежнему ничтожному состоянию, но еще ниже - в преисподнюю застенков и страны ГУЛАГ. Поэтому она не соответствовала обычно подразумеваемому в понятии элиты критерию стабильности. А поскольку другим критериям - качества «человеческого материала» и социальной приемлемости способа формирования - она также никак не

соответствовала, то, строго говоря, точнее ее было бы называть псевдоэлитой.

Правда, в последний период сталинской диктатуры и особенно после его смерти положение начало постепенно меняться: не только прекратились регулярно практиковавшиеся Сталиным избиения руководящих кадров, но, напротив, верхняя общественная страта в какой-то мере создала для себя статус неприкосновенности, неподзаконности, состав ее более или менее стабилизировался, иерархия «положенных» привилегий стала более четкой, а дети ее членов обрели ранг и самосознание отпрысков из «благородных семейств». Разумеется, от этого ее качество не улучшилось (скорее напротив), разве что она набралась некоторой чисто внешней респектабельности. Но это другой вопрос.

Способ, которым осуществлялось руководство обществом, несмотря на ряд внешних формальных различий, по сути своей претерпел не так уж много изменений по сравнению с *ancien régime* царской России. Революционный катаклизм, свалив трон, разнеся в клочья подпиравшую его идеологическую доктрину и ее выразителей, поглотив в своей пучине целые социальные классы, всколыхнув и до неузнаваемости перекроив все общество, тем не менее сохранил фундаментальные черты прежнего типа правления.

Однако в функциональном отношении режим значительно усилился, а также обогатился новыми манипуляторскими приемами.

Прежде всего это относится к **умению использовать низменные качества человека**, которое так проявилось в период революции и гражданской войны, а затем вошло в арсенал сталинской диктатуры как один из главных ее инструментов.

К тому же режим очень точно нашел социальную базу, придававшую массовый эффект его действиям. Он не только знал, на каких струнах следует играть, но и к кому нужно апеллировать. **Его ударной силой стали выдвиженцы** - люди, обязанные режиму всем и потому на все готовые ради него, а вернее сказать, ради сохранения и повышения своего социального статуса. Возможности же для социального

возвышения режим в случае удачи открывал головокружительные. Игра стоила свеч.

Эмпирические исследования карьер «сталинских соколов» (эта пропагандная этикетка для выдвиженцев сталинской эры в превращенном виде отражает реальности тогдашней номенклатуры) показали бы нам картину массового «социального десанта» на высшие этажи общества людей, которые при любом ином режиме не могли рассчитывать на что-либо подобное. «Кто был ничем, тот станет всем» - это обещание международного гимна коммунистов реализовалось чудовищным образом. Особенно характерны в этом отношении периоды массовых «чисток» и репрессий, когда во всех эшелонах власти в кратчайшие сроки «освобождалась» масса вакансий.

Конечно, я не намерен ставить под сомнение ни искренность веры многих людей сталинской эпохи в непогрешимую мудрость руководства страны, ни саму возможность сделать в те годы карьеру честными средствами, ни существование немалого числа таких честных карьер. Однако не такие люди были козырными картами режима. Не на них он делал ставку. Не они получали преимущество в игре по заданным властью правилам. **Режим наибольшего благоприятствования в целом действовал отнюдь не в интересах выдвижения наиболее способных и достойных.** Атмосфера эпохи способствовала процветанию людей иного сорта. Парадоксальный факт. В стране, где демагогическая пропаганда непрерывно муссировала миф о государстве, управляемом рабочими и крестьянами, и где, казалось бы, действительно были созданы очень благоприятные условия для вертикальной социальной мобильности, власть на деле оказалась отнюдь не в руках реальных представителей «господствующих» классов. Люди, захватившие бразды правления на всех этажах общества, действительно по большей части происходили из былых низов. Однако происхождение далеко не всегда определяет тип сознания. И выдвиженцы, как правило, были носителями лишь внешних атрибутов своего рабоче-крестьянского происхождения. К числу таких атрибутов относятся культурная неотесанность, причем нередко

демонстрировавшаяся подчеркнуто, на уровне бравады, нарочито хамский стиль поведения и лексикон (в частности, признаком «хорошего тона» в среде выдвиженцев было злоупотребление грубостью и демагогическая спекуляция на собственном происхождении). Но более глубокие элементы классового сознания, в том числе и такие его положительные черты, как, скажем, солидарность с «братьями по классу», добросовестное отношение к своему и уважение к чужому труду и даже элементарная практическая смекалка, у этих пробившихся в новую элиту и превратившихся в чиновников всех разновидностей «представителей трудового народа» можно было обнаружить крайне редко. Ведь для выдвижения требовались совсем иные качества. Естественный (или, может, вернее сказать, противоестественный) отбор шел по совсем другим параметрам. И поэтому самым преуспевающим типом выдвиженца был люмпен, человек с деклассированным сознанием, для которого утратили силу нормы, ранее регулировавшие его поведение, а никаких новых не усвоено. При этом здесь в значительной мере теряет реальный смысл критерий социального происхождения, ибо, в сущности, безразлично, из какого социального слоя вышел люмпен: является ли он люмпен-пролетарием, люмпен-крестьянином, люмпен-предпринимателем, или люмпен-интеллигентом. Люмпен есть люмпен - человек без корней, без нравственного кодекса. Потому представляется отнюдь не случайной значительность той роли, которую играл в революционном и послереволюционном большевизме «блатной» факторе. Именно этот исчислявшийся несколькими миллионами люмпенский слой, передавая эстафету своей этики новым поколениям, и составлял основную социальную опору сталинского и послесталинского режима.

Финал интеллигентской трагедии: трава под асфальтом.

Интеллигенция... Первые узлы трагической судьбы, выпавшей на ее долю в российской истории, завязались еще на рубеже 60-х годов прошлого столетия, а кульминация трагедии припала на конец второго десятилетия нашего века. О динамике положения и сознания каждой из двух ее ветвей - радикалов и либералов - довольно подробно говорилось раньше. Сейчас мы будем говорить о заключительном акте трагедии,

ибо то, что произошло с российской интеллигенцией в сталинскую эру, по сути своей было лишь неизбежным следствием предшествующего развития событий. 1)

Сначала о наиболее преуспевавшей ее части. Как известно, на первых порах существования режима незначительная, но все же заметная часть интеллигенции вошла в состав властвующей элиты. Главным образом это были, конечно, радикальные интеллигенты и их идейные наследники, хотя отмечались и исключения. Однако тенденции развития «революционного процесса» работали против этой группы. Кое-кто прозревал и сам выходил из игры, других оттирали набиравшие силу выдвиженцы. Все же ничтожная и неуклонно сокращавшаяся часть интеллигентов еще долгое время кое-как удерживалась на периферии элиты либо на подступах к ней. Причем по мере того, как все более отчетливым становился истинный облик режима, идейных его сторонников среди них, естественно, оставалось все меньше. Но независимо от мотивов, всем интеллигентам, остававшимся на элитной орбите, приходилось за это платить. И во имя своего благополучия, а также сохранения иллюзии активного участия в общественной жизни они поступались очень многим. В жертву были принесены существеннейшие атрибуты интеллигентского сознания и морали: роль носителя общественной совести и выразителя общих бед, сострадание народной судьбе, чувство гражданской ответственности, т.е. сознание своей моральной сопричастности к происходящему в стране и мире, органическая неспособность «подпевать могучему басу сильных мира сего» (выражение В.М. Шукшина), невозможность поступиться правдой ради житейских выгод, наконец, естественная, как дыхание, критическая рефлексия по широчайшему кругу вопросов. От всего этого номенклатурная (т.е. узкоэлитная и возлеэлитная) интеллигенция, по существу, отказалась ради сохранения возможностей узкопрофессиональной деятельности и доступа к мирским благам, распределение которых жестко контролировалось новыми хозяевами страны. В качестве примера подобного пути вспомним хотя бы биографию «красного графа» А.Н. Толстого.

В России, где бескорыстное выполнение функций критического разума и совести общества всегда считалось главным назначением интеллигенции, ее «крестом», этот отказ выглядел просто самоотречением. Справедливости ради следует сказать, что другие свои важные черты номенклатурная интеллигенция сохранила хотя бы в той мере, в какой ее не ограничивали политические обстоятельства и инстинкт самосохранения, и их она использовала на благо общества. Я имею в виду общую культуру мышления, профессиональную подготовленность, навыки продуктивной умственной работы, изобретательность в решении неординарных проблем, разносторонность и даже известную терпимость к другим мнениям и взглядам. Однако представляется, что перечисленные черты, при всей их важности и привлекательности, всеятаки не являются стержневыми для интеллигента.

Впрочем, даже и в таком оскопленном виде эта полностью ангажированная интеллигенция не могла удержаться в элитной «обойме». Если царская власть стремилась держать интеллигенцию лишь на положении ученых приказчиков, то новая - и подавно. В сталинские времена интеллигентов терпели только там и постольку, где и поскольку машина управления не могла без них обойтись. Но какие бы удары судьбы ни настигали номенклатурных интеллигентов, с какой-то высшей точки зрения они не были абсолютно несправедливыми, ибо их били по правилам той игры, в которую они добровольно вступили и в которой стремились к выигрышу. А главное, их тяготы и проблемы были несравнимы с тяготами и проблемами основной массы интеллигенции, судьба которой в условиях сталинской диктатуры была по-настоящему трагичной.

Ведь подавляющая часть интеллигентов не только находилась вне номенклатурно-элитных сфер, но и существовала в очень тяжелых условиях - как духовных, так и материальных. Ее постоянно унижали, притесняли, держали под страхом репрессий, которые по отношению к ней практически не прекращались. Но главная трагедия состояла в том, что **были полностью подорваны и отвергнуты как принцип фундаментальные основы интеллигентского существования** -

возможность безбоязненного обмена мыслями и относительная материальная независимость. Как известно, социалистическое государство (по крайней мере в городах) монополизировало статус работодателя и, естественно, плательщика заработной платы. И это монопольное положение у пульты распределения средств существования беззастенчиво использовалось властью в целях принуждения и манипуляции. Начиная со сталинского периода для интеллигента условием получения зарплаты стала безусловная политическая лояльность, причем требования к формам и степени интенсивности ее выражения постоянно повышались, проверочные «тесты» становились все более изощренными, а принимавшиеся «меры» - все более жестокими и тотальными. Уровень же **содержания** интеллигентов (пожалуй, именно это слово точнее всего передает суть отношения к ним власти) был унижительно низок. Достаточно вспомнить хотя бы о буквально нищенской (особенно в ту пору) зарплате, установленной для самых массовых и, может быть, самых важных интеллигентских профессий - учителей и врачей.

Что же касается обмена плодами размышлений, то надзор за этого рода деятельностью по своей строгости (или, выражаясь языком эпохи, по «бдительности») можно сравнить лишь с контролем над наиболее опасными видами уголовной преступности. Советская интеллигенция постоянно находилась под пристальным, опасливо-недоброжелательным наблюдением власти, причем в сталинскую эпоху эта функция возлагалась прежде всего на полицейско-карательные органы. Самые естественные проявления интеллигентского сознания и образа жизни - критическая и скептическая реакция на социальную действительность, потребность публично высказываться и обмениваться мнениями по острым актуальным вопросам, склонность к созданию неформальных групп для обсуждения проблем, представляющих общественную важность, - расценивались и, соответственно, преследовались и пресекались как тяжелейшие преступления.

В качестве дополнительного способа управления (а вернее, манипулирования) интеллигентами **использовалась** еще

распространенная в то время в интеллигентской среде народническая по своим истокам **установка на жертвенную самоотверженность** во имя светлого будущего, во имя народа. Как известно, тому поколению интеллигентов в массе были присущи и данная установка, и чувство социальной ответственности. И эти альтруистические черты интеллигентской натуры цинично и беззастенчиво эксплуатировались властями, когда им требовалось получить эффективную отдачу от творческого и трудового потенциала интеллигенции. Режим, как и в других случаях, точно обнаружил уязвимое звено в интеллигентском мировоззрении. С манипуляторской точки зрения им оказалось стремление во что бы то ни стало делать общественно полезное дело: пусть под недоброжелательным и некомпетентным надзором, безымянно, при полном отчуждении от контроля над использованием результатов работы... Но все-таки сознание приносимой пользы (к сожалению, очень часто ложное, иллюзорное) согревало интеллигентскую душу, порождая ощущение не напрасно проживаемой жизни. А деятели режима с холодной расчетливостью спекулировали на этом. Один из горьких парадоксов положения интеллигенции в том и состоял, что, будучи лишенной возможности проявить себя в каких-либо иных сферах, она устремлялась на единственный сохранившийся для нее открытый путь - в ущелья узкопрофессиональной деятельности, и подчас добивалась в ней весьма значительных успехов.

В наиболее ярком виде это можно наблюдать в военной сфере. Но и в ряде других областей научно-технологические основы могущества режима были в значительной мере созданы интеллигентами. В одних случаях плоды их труда все-таки в конечном счете шли на пользу народу, в других объективно приносили ему вред. Ну а сама интеллигенция влачила существование, совершенно не соответствовавшее ни ее объективной значимости, ни даже ее социальному статусу в царской России. Исключение делалось лишь для тех групп и отдельных персон, которые режим по тем или иным соображениям считал нужным особо подкармливать. Ценность интеллигента определялась только одним: служил ли он, и если да, то

насколько эффективно, «делу революции и пролетариату» (идеологическое наименование собственных интересов режима и элиты).

Но даже ограничение интеллигентской жизнедеятельности замкнутыми профессиональными расселинами не гарантировало ей физической безопасности. Волны репрессий в периоды их наибольшего прилива вымывали интеллигентов и из этих щелей.

Конечно, подобное противоестественное положение не могло не повлечь за собой серьезных моральных и психологических деформаций в интеллигентском самосознании. И они наступили. С начала 30-х годов можно наблюдать все нараставшие симптомы упадка и даже вырождения интеллигентских нравственных ценностей, ее психологический надлом.

Тем не менее, несмотря на явное снижение качества интеллигентской «породы», даже в годы самых широких, самых свирепых репрессий ее этика и характер поведения определялись отнюдь не только задачами выживания, физического самосохранения, не одними шкурными и узко профессиональными интересами. Например, не переставали действовать нравственные запреты на доносительство, делание карьеры на чужой беде и крови, на отказ от посильной помощи преследуемым. Конечно, не следует впадать в идеализацию: эти нравственные запреты неоднократно нарушались по мотивам страха, а порой и личной выгоды. К тому же, как известно, интеллигенты бывают весьма изобретательны в нахождении самооправданий. Но нарушители табу встречаются всегда и везде. И до тех пор пока они подвергаются какой-либо из форм остракизма или хотя бы просто сталкиваются с явно выражаемым неодобрением их поведения со стороны членов своей референтной группы, их действия не влекут за собой всеобщей эрозии норм. Так в те времена было и в интеллигентской среде.

Более того, ни девальвация интеллигентских моральных ценностей, ни антиинтеллигентская кадровая и идеологическая политика, ни репрессивный пресс не смогли парализовать выполнение интеллигентами очень важной части их традиционных общественных функций. Я имею в виду сохранение в условиях губительного климата эпохи той минимальной совокупности культурных навыков и ценностей,

которые являются необходимой предпосылкой выживания самой культуры; передачу культурной эстафеты «лучшим временам»; наконец, поддержание и воспитание в обществе, и прежде всего в среде молодежи, хотя бы некоторого интереса к вечным культурным ценностям.

Конечно, зачастую эти функции выполнялись исподволь, не в полном объеме, даже вперемежку с делами, не украшающими моральный облик таких «компромиссных» интеллигентов. Но никто другой, кроме них, не занимался этим вообще. И если наше общество все-таки не деградировало тогда до уровня необратимого духовного оскудения и одичания, то лишь благодаря таким вот половинчатым действиям полуподпольных хранителей головешек от растоптанных революцией интеллигентских костров.

Церковь на коленях. Теперь несколько слов о православии. Мы помним, что оно было «уволено с государственной службы» новой властью, поскольку та располагала собственной идеологической системой, собственными символами веры и механизмами идеологического принуждения. По существу, после 1917 г. православие впервые за долгие века своего господства в России не только лишилось государственной, властной поддержки, но и оказалось перед лицом сильного, консолидированного противника внутри страны, на которую оно привыкло смотреть не иначе как на свою вотчину. Для него настал час действительного испытания его жизнестойкости: для церкви - необходимости отстаивать свое идейное знамя против идеологии агрессивно атеистической и к тому же слитой воедино с властью, для паствы - необходимости поддержать церковь в ее трудной борьбе, проявить готовность пострадать «за святую Веру отцов». И нужно прямо сказать: этого испытания ни церковь, ни православные миряне в целом не выдержали.

У церкви не оказалось внутренних ресурсов для духовного противостояния воинствующему безбожничеству, а «народ-богоносец» не поддержал православие в его трудный час. Когда православие утратило статус государственной религии и, более того, обнаружилось, что верность ему может привести к некоторым житейским затруднениям,

произошло поразительное по масштабам и скорости отпадение населения от православия.

Кстати, в этом отношении СССР печальным образом отличается от восточноевропейских стран. Там тоже после прихода коммунистов к власти начались по советским рецептам гонения на церковь и верующих. Однако они натолкнулись на стойкое противодействие вплоть до готовности к самопожертвованию и довольно быстро сошли на нет, уступив место модусу некоего сосуществования.

Теперь мы из разных источников²⁾ уже немало знаем как о правительственных репрессиях и расправах, о грабежах церквей и монастырей, так и об отдельных актах героического сопротивления (восстание в Ельце, трагические крестные ходы монахов с хоругвями и иконами на пулеметы и штыки реквизиционных отрядов, поведение на суде патриарха Тихона и некоторых других церковных иерархов). Однако с исторической точки зрения самым трагичным была практически безучастная позиция подавляющей части населения страны, пассивно наблюдавшего за разгромом его якобы многовековых основ мировоззрения.

Конечно, объективность требует не забывать о том пассивном сочувствии гонимой церкви, которое было распространено среди довольно значительной части населения, а также об отдельных попытках паствы как-то ей помочь или даже за нее вступить. Но с другой стороны, нельзя забывать и о том, что в широко, с размахом развязанной кампании травли и разгрома церкви принимали активное участие сотни тысяч, если не миллионы людей, т.е. в большинстве своем тот же от века «православный народ». И антицерковные активисты показали себя несравненно более мощной и организованной группой (даже если отвлечься от факта поддержки, оказывавшейся им государством), чем их оппоненты с противоположного идейного полюса³⁾. История же взаимоотношений церкви с властью после прекращения прямых гонений - тема особая и тоже, увы, имеющая горький привкус в нравственном плане.

Победоносная война против крестьянства. Обсудим теперь судьбу класса, который по своей численности составлял в стране абсолютное

большинство: по этой чисто «арифметической» причине масштабы его трагедии были самыми крупными из всех трагедий советского времени. Я имею в виду крестьянство - сословие, по существу, кормившее все общество.

Как известно, практически прекратив в ответ на террор продразверстки производство товарной сельскохозяйственной продукции, деревня фактически взяла власть за горло и вынудила отступить от так называемой политики «военного коммунизма», что стало решающим фактором в принятии знаменитого решения X съезда РКП(б) о переходе к продналогу и новой экономической политике. Новые правила хозяйственного поведения в определенных пределах поддерживали предприимчивость, трудолюбие, способствовали повышению личного жизненного уровня, а новые «хозяева» (т.е. партийная и государственная надстройка) в чем-то поначалу казались даже лучше прежних: они устранили некоторые действительные несправедливости старого режима, к тому же импонировали крестьянской массе своей социальной близостью и понятной фразеологией. Правда, забирали они в форме обязательных поставок, налогов, изъятия излишков немалую долю крестьянского труда, но к этому крестьянам было не привыкать: в былые времена случались и хозяева покруче, и отбирали некоторые из них побольше.

Главное, что такая полусвободная жизнь не препятствовала естественным процессам социальной дифференциации, при которой более способные и трудолюбивые постепенно добивались и большего благополучия. Все это довольно быстро сказалось и на товарном рынке, способствовало прекращению голода, разрухи и постепенному подъему общего уровня жизни после его катастрофического падения в годы революции. Соответственно, и государство стало получать в свое распоряжение значительно больше средств. Словом, посредством более или менее нормального хозяйственного развития произошло то, чего тщетно пытались добиться комиссары в кожанках и с маузерами.

Но идиллия продолжалась недолго. Новая власть (как, впрочем, в течение почти всей истории и прежняя) не могла ужиться с даже относительно независимым от нее классом. Управление с помощью

механизмов косвенного регулирования не соответствовало ни российским традициям, ни тем более характеру и духу нового режима. «Не за то боролись» большевики, чтобы выпустить из-под своего контроля жизнь большей части общества, отдав его «во власть мелкобуржуазной стихии». Ведь при этом, с одной стороны, режим в значительной мере должен был бы отказаться от применения тех инструментов и способов управления, которые составляли главный источник его силы (жесткое прямое регулирование при помощи административных, военных и идеологических рычагов), а с другой - деревенское население приобретало относительную независимость от власти. Но любые подобные самоограничения, с точки зрения автократии, ослабляют ее и потому неприемлемы. Социально-экономическая ситуация в городе тоже подталкивала режим в сторону крайних мер. Перемирие власти с крестьянством оказалось непродолжительным.

Очень скоро появляются «кануны», предвестники рокового поворота событий. Власть все более бесцеремонно вмешивалась в хозяйственную жизнь деревни и усиливала пресс налогов, поборов и всевозможных обложений, причем доминирующая доля тягот откровенно возлагалась на плечи «станового хребта» деревни - эффективно работающих и, следовательно, сравнительно более зажиточных крестьян. Шло откровенное поощрение и заигрывание с «голытьбой», с «деревенским пролетариатом», т.е. с теми, кто даже в условиях значительной государственной поддержки и льгот не смог эффективно хозяйствовать и выбиться из бедняцкого прозябания. Но и это было лишь прелюдией к последующему тотальному разгрому и разграблению деревни под лозунгом «уничтожения кулачества как класса» и «сплошной коллективизации».

Экономическая же подоплека событий такова: поскольку власть не могла предложить крестьянам в обмен на их хлеб достаточное количество промышленных товаров, нужно было либо срочно обеспечить их производство, либо отнять хлеб. И после внутривластной дискуссии, в ходе которой сторонники умеренного, основанного на нормальных экономических предпосылках курса оказались в явном меньшинстве,

было принято однозначное решение. Вместо развития партнерских отношений с крестьянством была избрана стратегия его ограбления и закабаления под вывеской сплошной коллективизации. Так началась трагедия с неисчислимыми человеческими жертвами и хозяйственными потерями, что до сих пор остается одной из главнейших причин нашего уродливого экономического положения и развития.

И - один из страшных парадоксов сталинского времени - страна почти не заметила, сколь жуткая вивисекция была произведена на ее теле. О подлинном смысле, масштабах трагедии, ее ближайших и отдаленных последствиях долгое время практически почти никто вообще не догадывался. Да и о самих событиях, помимо их крайне куцей и лживой официальной версии, мало кто знал (во всяком случае в городах и за пределами Украины и других центров искусственно вызванного массового голода - «голодомора» 1932-1933 гг.). Лишь постепенно правда о трагедии этого «бесписьменного народа» (выражение Солженицына) начала просачиваться наружу, главным образом через художественную прозу А. Платонова, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можая, В. Гроссмана... И все-таки это невероятно мало для осознания и закрепления в исторической памяти народа сути и масштабов трагедии.

С точки зрения нормальной политической экономии, насильственная массовая коллективизация деревни была полным абсурдом. Вряд ли в европейской истории XIX-XX вв., т.е. во времена, когда экономические теории стали неотъемлемой частью сознания образованных людей, можно найти другой аналогичный пример столь явного пренебрежения законами экономического развития при принятии политического решения. Тем парадоксальнее выглядит положение, когда подобная акция исходит от тех, кто провозгласил себя адептами марксова экономико-материалистического объяснения жизни общества. Но так выглядит дело лишь на первый взгляд, ибо ленинская формула «политика не может не иметь первенства над экономикой» 4) служила для правителей советской России практическим руководством к действию гораздо чаще, чем марксистские схемы.

Экономический детерминизм, на словах провозглашавшийся большевиками, был заменен политикой административного диктата,

произвола и террора по отношению к целому классу - крестьянству. По существу, власти провели настоящую кампанию по завоеванию деревни со всеми соответствующими атрибутами: с применением военной силы, грабительскими контрибуциями, опустошением целых областей, массовыми депортациями населения, передачей населенных пунктов под управление присланных комендантов с чрезвычайными полномочиями; с созданием «пятой колонны» из числа «покоренного» населения и марионеточных органов самоуправления; с идейным разложением и деморализацией «противника» и т.п. Кампания велась со всей серьезностью и закончилась полной победой. Именно так стратеги кампании и ее проводники воспринимали происходившие в деревне события. Не случайно проведенному в 1934 г. XVII партийному съезду - первому после завершения коллективизации - было дано название «съезд победителей».

Точное число жертв этой войны и бывшей ее неотъемлемой частью «голодомора» вряд ли станет когда-либо известно, поскольку не только «никто не вел учета», как заметил в своих мемуарах Н.С.Хрущев, но и в силу очевидной заинтересованности властей в том, чтобы никто и никогда не узнал этого числа. Тем не менее, статистики и другие исследователи на основе косвенных данных называют цифры от 7 до 11 миллионов человек. 5)

Какие же основные факторы обеспечили власти явный перевес в ее войне против составляющего абсолютное большинство населения класса кормильцев? Что обусловило ее внешне легкую победу? Пожалуй, и в данном вопросе следует поставить на первое место уже много раз упоминавшийся нами **стереотип покорности, повиновения сильной власти**. Этот фундаментальный стереотип национального сознания в наибольшей степени присущ именно сознанию крестьянства. Лишь на первый взгляд противоречат ему перманентные вспышки крестьянских бунтов и поджогов помещичьих усадеб, сполохи которых почти все время мерцают на заднем фоне российской истории. Дело в том, что эти спонтанные импульсы бессмысленной ярости работали на укрепление того же стереотипа, ибо служили лишь

клапаном для периодического эмоционального выпуска социального пара. Подобные вспышки диких страстей, сопровождавшиеся актами вандализма, бессмысленной страшной жестокости, имели иррациональную основу. При всем желании в них крайне трудно обнаружить не только более или менее осознаваемую программу действий, но даже элементарно разумную линию поведения. Внезапно вспыхивая, они столь же внезапно гасли, нисколько не способствуя закреплению в крестьянском сознании каких-либо зачатков идеи о праве народа на противостояние несправедливым притеснениям власти, а, напротив, порождая синдром «повинной головы», еще больше укрепляли стереотип рабского повиновения хозяину. И чем сильнее и круче на расправу хозяин, тем большим должно быть повиновение ему. Эта установка в полной мере сработала во время коллективизации.

Во-вторых, значительную роль сыграло, разумеется, **прямое принуждение**, а также реально осязаемая угроза его применения. Принуждение осуществлялось двумя взаимосвязанными силами - военными частями НКВД, выполнявшими прямые карательные функции, и корпусом так называемых 25-тысячников, т.е. направленных из городов партийных эмиссаров с диктаторскими полномочиями, имевших право применять любые меры для достижения установленных центром «контрольных цифр» по раскулачиванию, коллективизации и изъятию продовольствия.

В-третьих (по порядку, а по важности, может быть, и выше), Сталин и его аппарат в несколько модернизированном виде использовали в деревне тот же механизм «пятой колонны», который был одним из основных политических факторов, обеспечивших победу режима в революционные годы. Тогда это было использование в качестве социальной базы деклассированных элементов и тех, кто считал себя несправедливо обиженным судьбой, теперь это была **опора на деревенских люмпенов, а также на «актив»**. В деревне эта никчемная при других обстоятельствах категория людей зацепилась за большинство ключевых позиций в новой структуре реальной власти. Режим видел в них главных проводников своего влияния и политики. Эти люди понимали, что их

благополучие целиком зависит от готовности служить режиму изо всех сил, а лишившись его поддержки, они неминуемо потерпят крах. И понимание этой своей зависимости, а также распалывшее их подсознательное ощущение собственной ущербности, неполноценности определяли их рабскую преданность режиму, способность без раздумий и колебаний, по первому зову выполнить любую грязную работу. Б. Можаяев устами одного из своих героев так характеризует этот тип: «Мы все видим, как эти сенечки да никаноры из кожи вон лезут, чтобы проползти любым способом, ухватиться за штурвал, подняться на капитанский мостик, чтобы повыше быть, позаметнее, с одной целью - отомстить всему миру за свою ничтожность» б).

Другая «точка опоры» большевистской власти в деревне - «актив» состоял главным образом из тех крестьян, которые в отличие от выдвиженцев по-прежнему оставались органичной частью деревенской социальной структуры, однако частью довольно специфической. «Активизм», в привычном советском понимании слова, есть не что иное, как деятельное приспособленчество, активный конформизм, небескорыстная подчеркнутая демонстрация лояльности власти, готовность всячески перед ней выслуживаться. Обычно он присущ тем членам группы, которые, будучи неспособны добиться успеха на основном поприще деятельности - в данном случае на ниве сельского хозяйства, - стремятся взять реванш за счет псевдодеятельности в побочных сферах, в нашей действительности - прежде всего за счет показного рвения при выполнении указаний партийных и полицейских хозяев, т.е. лиц, располагающих возможностями наказания и поощрения. Подобная «активность» обычно вознаграждается как хозяйскими подачками, так и «прилипанием к рукам». Помимо материальных стимулов проводившим раскулачивание сельским «активом» двигали еще зависть к преуспевшим соседям, пьянящее сознание безнаказанности и другие подобные «возвышенные» чувства, мастерское использование которых всегда отличало режим.

В поведении «активистов» играл, конечно, свою роль и идеологический фактор - **вера в абстрактную справедливость совершаемого,**

которая поразительным образом усиливается, если совпадает с личной материальной выгодой.

В-четвертых, **кампания коллективизации оживила и проэксплуатировала в своих целях** древние традиционалистские стереотипы крестьянского сознания, в совокупности составлявшие **общинную этику**. Ведь с известной точки зрения коллективизация с ее лозунгами обобществления и всеобщего уравнивания была как бы переодеванием и обновлением еще далеко не отмерших извечных традиций крестьянской общины - «мира». И традиции эти, которые к тому же не содержали в себе каких-либо противоядий от экспансии деспотизма, содействовали новому, еще более жестокому закреплению российской деревни.

Наконец, назовем такой фактор, как **массированная идеологическая кампания социально-психологического принуждения и деморализации «классового врага»**. На сознание населения обрушился мощный пропагандный поток. Задачи пропагандистской машины были двоякими: с одной стороны, внушить идеи о высшей справедливости, целесообразности, а главное, о твердости избранной властью линии; с другой - ошельмовать любую оппозицию, деморализовать и психологически изолировать всех, кто либо изначально был предназначен к «выдергиванию» из социальной почвы деревни в качестве «сорняка», т.е. «кулаков», либо отваживался на сопротивление уже в ходе террористических, по сути, операций коллективизации, т.е. «подкулачников». Идеологическая кампания достигла всех своих целей: «враг» был деморализован, пассивное большинство - парализовано страхом и якобы фатальностью происходящего, а определенная часть крестьянства, особенно молодежи, укрепилась в своей искренней вере в правдивость пропагандистских мифов.

В качестве интегрирующего назовем еще один механизм, использовавшийся, впрочем, не только в деревне. Политика власти, включая и самые жесткие, репрессивные акции, поскольку она осуществлялась руками выдвиженцев, т.е. «социально близких»

элементов, тем самым создавала иллюзию народовластия. Эта психологическая aberrация порождала ложные представления о режиме, ибо иллюзия народовластия значительно повышает устойчивость политической системы. Н.И. Бухарин, уже на краю гибели, говоря в последней своей опубликованной статье 7) о тоталитарных режимах, распознал зловещую сущность этого манипуляторского механизма.

Власть рабочих? И наконец, обратимся к рабочему классу. До сих пор мы видели, что, за исключением «нового класса» - элиты, всем другим слоям населения послереволюционное развитие страны принесло в конечном счете гораздо больше зла и бед, нежели добра. Но, может быть, такой ценой было оплачено счастье «передовой части общества»? Ведь принято считать, что рабочий класс был «гегемоном революции», что революционные преобразования совершались в России прежде всего в интересах именно этого класса. Но и подобная конструкция далека, на наш взгляд, как от исторической справедливости, так и от исторической истины.

Претензии ее на справедливость перечеркиваются тем обстоятельством, что рабочие и перед революцией, и долгое время после нее составляли очень незначительную часть населения страны. Согласно официальным данным, в 1913 г. рабочих было в России около 3 млн. человек, т.е. всего около 2% населения; за годы революции и гражданской войны и это число сократилось более чем вдвое, даже в 1925 г. число рабочих не доходило до 2/3 предвоенного уровня и составляло всего 1,8 млн. человек; лишь после десятилетия форсированной индустриализации, к 1937 г., оно достигло 10%-ного рубежа - 17,5 млн. человек. Даже если считать рабочих вместе с членами их семей (а зная обычаи советской статистики, никак нельзя поручиться за отсутствие в этом случае так называемого повторного счета, т.е. учета одних и тех же лиц по нескольку раз), то в 1928 г. они составляли 12,4%, а в 1939 г. - 33,5% населения 8).

И интересы этого явного, а до 30-х годов - просто ничтожного меньшинства народа были провозглашены высшим приоритетом, в

жертву которому позволительно принести интересы всех прочих. О какой же справедливости тут можно говорить?!

Теперь об истинности лозунга о пролетарском государстве. Здесь, видимо, следует обратиться к внутренней структуре рабочего класса. Перед революцией наиболее заметной его частью были кадровые рабочие, хотя они отнюдь не составляли арифметического большинства. Однако мировая, а затем гражданская война, эпидемии, голод унесли из жизни большую часть этого ядра класса. Постепенное восстановление его численности, а затем и скачкообразный рост в годы индустриализации происходили главным образом за счет выходцев из деревни. В результате кадровые рабочие стали составлять ничтожную часть класса.

Большинство же из них вышли из вчерашних крестьян, которые либо не нашли себе применения в деревне, либо бежали оттуда, спасаясь от террора коллективизации. Поэтому по своей культуре и психологии они были теми же люмпенами, только не нагло-агрессивными, как выдвиженцы, а неуверенными, запуганными, плохо ориентировавшимися в новой жизненной обстановке и подвластными любому внушению и давлению.

Принято считать, что именно кадровые, потомственные пролетарии всегда оказывали большевистской партии и большевистской власти наиболее твердую поддержку, в наибольшей степени считали ее своим представительством. В этой связи, однако, возникают возражения по меньшей мере двоякого характера. Во-первых, в число кадровых рабочих входила значительная прослойка так называемой рабочей аристократии, т.е. наиболее квалифицированных и, естественно, высокооплачиваемых рабочих, которые по своему образу жизни и типу сознания были ориентированы не столько на «братьев по классу», сколько на средние слои городского населения. Они были более или менее удовлетворены своим материальным положением, заинтересованы в социальной стабильности и потому не могли быть последовательными сторонниками большевистского экстремизма и радикалистских методов осуществления власти. Во-вторых, за постсоветские годы опубликованы весьма серьезные документальные

материалы, свидетельствующие об упорном сопротивлении, которое значительная часть рабочих оказывала большевистской власти в первые месяцы и даже годы после переворота.

Конечно, вопросы эти нуждаются в специальном исследовании, но и на базе уже имеющегося знания, думается, есть серьезные основания для того, чтобы поставить большой вопросительный знак над одной из краеугольных доктрин официальной партийно-советской историографии - концепцией рабочей власти. Конечно, определенная и, вероятно, достаточно значительная часть рабочих активно поддерживала режим. Но если принять во внимание все сказанное выше, возникает естественный вопрос: а не слишком ли узка социальная база режима, беззастенчиво претендовавшего на роль «народной власти»?

Судьба народа в «народном государстве». Думается, одним из способов «научного» освящения политической практики террора было неправомерно ограничительное толкование понятия «народ». В социалистических доктринах почему-то вошло в обыкновение, говоря о народе, подразумевать под ним прежде всего людей малообразованных и занятых физическим трудом. Но разве интеллигенция не является частью народа? Разве дворянство, духовенство, предприниматели не были органическими частями народа? Вопросы эти отнюдь не носят отвлеченного характера, поскольку теоретическое вынесение названных категорий за пределы понятия «народ» послужило оправданием для пренебрежения их интересами и даже для принесения их в жертву.

Данный принцип даже получил конституционное закрепление уже на заре режима. В Конституции РСФСР 1918 г. с полной откровенностью говорится о полномочиях государства «в интересах социалистической революции» лишать прав целые группы людей (ст.23). Что понималось под этими группами, явствует, в частности, из ст.65, определяющей категории людей, лишенных избирательного права. К ним были отнесены «лица, прибегающие к наемному труду» (п. «а»), «лица, живущие на нетрудовой доход» (п. «б»), «частные торговцы, торговые и коммерческие посредники» (п. «в»), «монахи и духовные служители» (п. «г»), «служащие и агенты бывшей полиции...» (п. «д»). В социальной структуре тогдашнего общества суммарная доля категорий «лишенцев»

составляла едва ли не половину населения. Впрочем, для тоталитарных режимов выборы - далеко не самый важный элемент политики. Поэтому начиная с 1936 г. ограничения избирательного права по классовым признакам были отменены. Зато другие, более существенные политические права даже последние советские конституции признавали лишь за верноподданными гражданами, действующими «в соответствии с интересами трудящихся» (ст.125, 126 Конституции 1936 г.), «в целях укрепления социалистического строя» (ст.126), «в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя» (ст.50 Конституции 1977 г.), «в соответствии с целями коммунистического строительства» (ст.51). А что на самом деле скрывалось за этими формулами прожившие в этой стране жизнь, знают, увы, слишком хорошо.

Представляется, что миф о «народной власти» не выдерживает критики даже с позиций традиционного для марксизма классового анализа общества. Скорее можно сказать, что народ затравили «медные всадники», опиравшиеся на худших его представителей, на вырожденков из народной среды - смердяковых и опричников, а также на извечную системоцентристскую традицию народной покорности олицетворяемой властью судьбе, на готовность безропотно и даже с некоторым воодушевлением шагать в колоннах по предписанным властью маршрутам, под дробь идеологических барабанов.

Общество, отравленное террором. Фундаментом могущества созданной системы несомненно была машина террора. За период сталинизма челюсти этой машины перемололи десятки миллионов человек. Но тема террора - не наша специальная тема. Для нас гораздо важнее понять, как и почему это **общество приняло террор** в качестве допустимой и оправданной формы управления собой, из кого и на какой основе формировались кадры террористов и направлявших их действия персон. С позиций нашего подхода это объясняется тремя причинами.

Во-первых, кровавый кошмар сталинщины отнюдь не был каким-то внезапным стихийным бедствием, неким случайным эпизодом российской истории, а лишь продолжил движение по накатанной дороге

древней русской автократической традиции периодических кампаний геноцида против собственного народа. Наиболее грандиозными (каждая по масштабам своего времени) и известными примерами такого рода кампаний являются опричнина Грозного, начало XVIII в., революционные годы. Однако этими одиозными периодами перечень далеко не исчерпывается: можно без труда назвать десятки менее крупных кампаний, эпизодов и ситуаций, когда тысячи и тысячи жизней подданных походя приносились в жертву или ставились на кон политических игр в качестве мелкой, почти ничего не стоящей монетки.

Во-вторых, в процессе сталинского геноцида были почти подчистую вытравлены ростки другой, куда более молодой и, соответственно, менее распространенной и укоренившейся традиции (назовем ее условно либерально-демократической), причем сталинская сплошная «химическая обработка почвы» стала лишь кульминационным, завершающим актом кампании против этой традиции; серьезнейший, а возможно, и решающий урон она понесла уже во время революции.

В-третьих, поскольку в сталинские преступления были в той или иной степени втянуты в качестве их фактических соучастников миллионы людей, это самым пагубным образом сказалось на уровне общественной морали, повлекло за собой моральную деградацию послереволюционного общества в целом, ибо за преступлением, как личным, так и коллективным, массовым, следует моральное саморазрушение его субъектов. Очевидно, что в пределах одного поколения моральная деформация, как правило, необратима. Неясно только, сколько поколений должно смениться, чтобы в общественной морали даже при самых благоприятных условиях исчезли следы сталинизма. А как быть, если его «штамм» пусть и в ослабленной форме, но воспроизводится в новых поколениях и к тому же находит вполне пригодную для своего развития общую среду обитания?

Тема сталинизма так же неисчерпаема, как тема мирового зла. Мы в данном случае ограничились лишь попыткой очертить ее абрис, каким он представляется с позиций нашей концепции.

В заключение обозначим еще несколько проблем, каждая из которых заслуживает серьезных специальных исследований.

Проблема обманутого поколения. Рассматривая феномен сталинизма, можно многого не понять, если строить анализ лишь вокруг таких категорий, как «палачи», «жертвы», «запуганное большинство» и т.п., хотя в главном они отражают суть имевших место социальных отношений. Однако для значительной части (не берусь давать количественных оценок) современников и участников событий тех лет их картина представлялась окрашенной в существенно иные тона. Многие, очень многие верили в разумность и справедливость происходящего, в то, что режим действительно создает условия для новой, небывало прекрасной жизни, которая находится уже совсем рядом, за ближайшим историческим поворотом. Скорейшему же наступлению прекрасного завтрашнего дня мешают сонмы всевозможных врагов и реакционеров, против которых в силу особой общественной опасности их вылазок и преступлений допустимы любые средства борьбы. И они, эти люди, выполняя преступные по своему подлинному смыслу приказы, надрываясь на непосильной работе, вкладывая все силы в укрепление античеловечного режима, рапортуя вождю о выполнении и перевыполнении его заданий, маршируя в приветственных колоннах, не только не сознавали, что являются марионетками в чудовищных манипуляциях с десятками миллионов человеческих существ, а искренне верили, что действуют для пользы общества. В самых же крайних, вопиющих случаях, когда разум и совесть отказывались принять и оправдать отдельные особенно страшные или несправедливые акции режима, на помощь сознанию из глубин памяти всплывала спасительная формула: «Лес рубят - щепки летят». И сознание, проглотив эту утешительную, расслабляющую ум, парализующую волю микстуру, успокаивалось. Подобную массовую аберрацию психики, когда люди верили не очевидности, не собственным наблюдениям, не своему здравому смыслу, а предельно беспардонной и лживой, весьма примитивной пропаганде, думается, можно пытаться объяснить исходя из двух главных видов социально-психологических механизмов.

Во-первых, это защитные механизмы психики, именуемые замещением и рационализацией. Суть их состоит в том, что человеческое сознание склонно вытеснять неприемлемую для него информацию о мире и

заменять ее пусть ложными, но приемлемыми представлениями. Трудно, а может быть, и невозможно жить с сознанием того, что служишь орудием преступной власти и аморальных целей. Поэтому человек с готовностью идет на самообман, изобретая либо позволяя легко внушить себе любой миф, который приукрашивает власть и ее цели. Словом, **люди по большей части стремятся и предпочитают верить в то, во что удобно верить**. Это тем более легко, когда удобные версии и символы веры не просто существуют, но и изо всех сил навязываются машиной идеологической пропаганды.

Тут вступает в действие второй вид социально-психологических механизмов - суггестия и контр-контрсуггестия. В советских условиях их воздействие было особенно эффективным: отсутствие традиций свободы печати и слова и, напротив, традиция признания высшей авторитетности за высказываниями, исходящими из официального, связанного с властью, источника делали массовое сознание абсолютно безоружным и незащищенным перед напором любой официальной пропаганды. Обычные для западного сознания фильтры скепсиса, недоверия, самостоятельного критического размышления над политическими вопросами в российской политической культуре начали вырабатываться лишь со второй половины XIX в. Поэтому они были непрочны и рухнули под массивным натиском воинствующей лжи, которая использовала как сладкоголосые песни леворадикальных сирен и возвышенные утопии коммунистической мифологии, так и хриплый, заходящийся в ненависти лай своры, остервенело травившей любые формы и проявления нонконформизма. И потому о подданных сталинской империи следует говорить и как об обманутом поколении. В этом же контексте возникает и проблема конформистского сознания. Но так как она более разработана и ясна, опустим ее.

Еще один психологический аспект этой проблемы состоит в крайне болезненной для многих потере такого объекта психологической символизации чувств как самоидентификация. Очень многие в нашей стране идентифицировали себя именно как «советских людей». И хотя, с моей точки зрения, нет оснований жалеть об утрате этой дурной и

фальшивой идентичности, но для людей, проживших жизнь в сознании принадлежности к ней, это - тяжелый удар. Ведь «советский человек» и на самом деле имел некоторые черты, отличавшие его от всех прочих. Не будем сейчас уточнять, хорошие это черты или плохие. Важно, что такова была психологическая реальность, ставшая частью их самосознания. И некоторые из них пытаются разными путями пусть символически, но реанимировать старые политические ритуалы и символы, дабы хоть как-то защитить ту психологическую реальность. Это проявляется в диапазоне от шествий преимущественно пожилых людей с красными бантами и знаменами по прежним «красным дням календаря» и до поддержки реанимации прежнего советского гимна. (Вопрос о стоящих за этим политических манипуляторах - дело другое.) Выглядит это, как правило, довольно нелепо и вызывает у окружающих раздражение. Но ведь большинство этих людей в конце концов не виновато, что их кумиры оказались на поверку ложными идолами и монстрами. Вряд ли ведь реалистично предъявлять массовому сознанию требование способности к критической рефлексии. В посленацистской Германии разоблачение предыдущего государства как преступного в течение десятилетий было одним из главных национальных приоритетов; и даже при этом эмпирические опросы 50-ых обнаруживали немалую долю ностальгии. У нас же ничего подобного не было, даже напротив. Чего стоит хотя бы кампания по возвращению на Лубянку одного из самых кровавых символов прошлого режима - памятника Дзержинского. А, возвращаясь к людям, с упрямой безнадежностью продолжающим символизировать себя как советских людей и нисколько не сочувствуя их идеалам, замечу, что эти, в сущности, обманутые, психологически искаленные люди чем-то даже честнее, искренней очень быстро перековавшихся функционеров старой системы, которые слишком уж легко и безболезненно скинули прежние одежды и, толкаясь, рвутся в первые ряды «строителей капитализма» и непривычными пальцами крестятся перед телекамерами в дни православных праздников.

Об источниках устойчивости режима в экстремальных обстоятельствах. Часто недоумевают: почему столь бесчеловечная

система проявляет такую живучесть в кризисных обстоятельствах, не только не рассыпается, но, напротив, демонстрирует весьма высокую эффективность и волю к самосохранению? Почему народ, зачастую попавший в экстремальные условия по вине своих правителей, не только не отказывает им в повиновении, но, наоборот, поддерживает их с еще большей самоотверженностью? С наибольшими основаниями подобные вопросы можно адресовать к периодам индустриализации и войны.

Отвечая на них, видимо, в первую очередь следует базироваться на таких факторах, как: а) террор и угроза его применения; б) машина организованного принуждения, породившая беспрецедентную для истории нового времени индустрию принудительного труда (страна ГУЛАГ, колхозное закрепощение крестьян, армейские строительные батальоны, карательное трудовое законодательство); в) армейские принципы построения системы и как следствие α ее высокая мобилизационная способность; г) исчезающе малая ценность человеческой жизни, что с особенной яркостью проявилось во время войны, когда людские потери принимались командованием в расчет лишь с точки зрения возможностей их восполнения и путь к победе выстилался горами трупов (беспрецедентный случай, когда потери страны-победителя - СССР - превышают потери полностью разгромленного противника - Германии - почти в три раза, а потери в составе вооруженных сил - в шесть раз!); д) массированное воздействие религиозной по характеру и суггестивной по методам деятельности машины идеологической пропаганды.

Но есть еще один фактор, способствующий повышенной устойчивости незападных обществ, и в частности нашей системы. Господство в таком обществе системоцентристской шкалы ценностей, неразвитость индивидуалистического сознания, оценка человека лишь с точки зрения его полезности для коллектива создают почву для нерассуждающего самопожертвования ради коллективных целей. Наиболее ярко этот феномен наблюдается в военных условиях, но и в хозяйственной деятельности, к несчастью, очень часто возникали положения, при которых система в качестве главного своего ресурса эксплуатировала

так называемый трудовой героизм, т.е. работу людей, явно ненормальную по своим условиям и интенсивности, на «износ».

Думается, что такого рода «муравьиный героизм» по своим моральным и психологическим стимулам существенно отличается от общечеловеческого героизма, где принесение человеком себя в жертву (под жертвой в данном контексте понимается не обязательно утрата жизни, но также и другие значительные ущемления личных интересов) воспринимается и им самим, и социальной средой как высокий акт самоотречения; при этом, разумеется, цель, во имя которой платится такая цена, тоже должна быть достаточно высокой, а сама жертва - оправданной и вынужденной. Словом, героический поступок совершается в обстоятельствах на самом деле чрезвычайных и является актом исключительным. И конечно, множество примеров такого подлинно человеческого героизма было и в нашей истории.

В условиях же сталинщины принесение человеком себя в жертву превратилось едва ли не в норму, т.е. в тот тип поведения, который социальное окружение ожидает от человека в ситуациях хотя и трудных, но объективно далеко не всегда безвыходных и не требующих столь высоких жертв. Впрочем, жертвы эти в силу их социальной санкционированности и низкой цены человеческого индивида по системоцентристской шкале отнюдь не считались такими уж значительными. Вместе с тем они сослужили, к несчастью, немалую службу сталинскому режиму, позволяя ему без особых затруднений латать пробоины своего корабля пробками из человеческих тел.

Сноски к главе 9.

1 Весьма интересную и заслуживающую самого серьезного дискуссионного обсуждения концепцию для анализа российской интеллигенции предложил А.С.Панарин. См. его книгу:

2 В дополнение к источникам, названным в аппарате к предыдущей главе, можно, например, указать на такие работы как: Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М. 1995, Крестный путь церкви

в России 1917-1987. М. 1988, и, конечно, «Архипелаг Гулаг» А.И.Солженицына.

3 Пожалуй, наиболее достойно противостояли политике идейного поругания христианства и унижения верующих члены различных неортодоксальных сект, в частности толстовцы. Трагическая хроника морального противостояния толстовцев режиму представлена, например, в документальной книге М.Поповского «Русские мужики рассказывают» (Лондон, 1983).

4 Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.42. С.278.

5 См.: Андреев Е.М. и др. население Советского Союза 1922-1991. М. «Наука». 1993. С.118; Конквест Р. Жатва скорби. Лондон. 1988. С. 445.

6 Можаяев Б. Минувшие годы. М., 1981. С.336.

7 См.: Бухарин Н. Маршруты истории - мысли вслух// Известия ЦИК. 1936. 6 июня.

8 Все цифровые показатели даны по: Большая советская энциклопедия. М., 1975. Т.21. С.315, 316, 318.

